

Григорий Померанц

Перед неподвижным ликом

Принимаясь за чтение «Лавры»¹, я уже слышал, что роман вызвал споры и даже возмущение. Но на первых страницах все богословско-политические споры отодвинул характер героини, от лица которой ведется рассказ. Мне понравился непосредственный живой ум молодой женщины, ее бунт против предписаний, не укладывающихся в сердце. Я еще в юности прочел у Достоевского, что бунтом жить нельзя, но иногда и без бунта невозможно; и с сочувствием следил, как героиня ищет свои собственные нравственные опоры. Мне показалась символической сцена в магазине готового платья, где женщина, сознающая свою красоту, примеряет одно за другим изделия московшвея и в каждом из них чувствует себя уродом. Так у нее и с идейным московшвеем, старым и новым.

На анкету дочерей Маркса я ответил бы не так, как он, а совершенно противоположным образом. В мужчине меня захватывает нежность, в женщине – сила. Характер, по-моему, должен развиваться, дополняя, уравнивая то, что задано природой; с этим можно и не согласиться, но меня восхищала трепетная чувствительность на мужественном лице генерала Григоренко и нежность, с которой он обращался к своему дефективному пасынку. Так же радуется сила ума и воли, как бы противоречащие хрупкому обаянию женщины, а на самом деле – углубляющие это обаяние. Я с сочувствием следил, как героиня бунтует против канонов, путается в схемах, которые сама создает, сомневается в них, готова покориться – и снова обретает внутреннюю свободу. Я почти видел, как этот свободно найденный внутренний лад сказывался во впечатлении, которая она производит (собственно внешность героини ни

¹ Е.Чижова. «Лавра» – «Звезда», 2002, № 7,8,9.

разу не описывается, но гармония свободы угадывается сквозь любые черты).

Слава Божия – до конца раскрывшийся человек, – писал Ириней Лионский; я запомнил эту фразу по сочинениям Антония Блума (он любил ее повторять) и позволю себе слегка изменить текст: слава Божия – и до конца раскрывшаяся женщина, даже если она, раскрываясь, восстает против мужского понимания Божьей воли, сложившегося у патриархов и отцов церкви. Я вижу не только гордость в пренебрежительном замечании о «невзрачных матушках», собравшихся в ожидании выхода вл.Николая. Мне кажется, раскованный взгляд сразу оценил внутреннюю невзрачность этих женщин, их скованность в готовом платье обычая, в платье, которое топорщилось, как на Мандельштаме – пиджак эпохи Москвошвея.

Владыка обращается к новенькой с несколькими словами, и она отвечает, словно любому другому мужчине, без трепета почтительной скованности, – матушки явно шокированы, – а владыка принимает предложенное ему равенство, и только незаметный удар мужа по ноге заставляет солгать и прекращает диалог, вышедший за рамки протокола.

Вся первая часть романа – спор женской непосредственности с каноническим порядком вещей и идей. Муж объясняет, что самое главное в Храме совершается в алтаре, «куда вашу сестру не пускают». И героиня мгновенно находит ответ: «тогда ваша сестра поймет, что происходит, по косвенным данным». Это хорошая фраза, смысл которой выходит за рамки сцены. Вся книга может быть понята как косвенный ход религиозной мысли, как кризис веры, заглянувший на малогабаритную кухню.

Я читал об этом кризисе у Мартина Бубера, не верившего ни в какие рассуждения о Боге в третьем лице и только в прямом разговоре, в молитве чувствовавшем достоверность своего собеседника. Читал Томаса Мертона и его переписку с Рютер, где сказано было, что отрешенность и созерцание перестают быть пожизненной профессией и становятся частью большого

общего ритма жизни. Читая протоколы семинара имени Джона Мейна, на котором Далай Лама XIV комментировал Евангелие и попутно сам спросил своего главного оппонента, о.Лоренса Фримена, объективно ли существуют, с точки зрения христиан, ад и рай, а тот уверенно ответил: конечно, нет. И ад, и рай – состояния нашей души.

У больших религиозных мыслителей кризис веры разворачивается в глубинах, где рождались сами Писания, и ветхая буква осыпается под натиском нового слова. У Елены Чижовой нет ни этой глубины, ни этого слова, но есть чуткость к нравственной фальши, и не читая Кришнамурти, она делает свой выбор – отбросить ложное, не зная истинного. Кришнамурти считает такой шаг необходимым. Надо шагнуть в пропасть, при падении развернутся крылья. В сказке Михаэля Энде Христос зовет к тому же: «учись падать и держаться ни на чем, как звезды». Героиня решается шагнуть – и разбивается. Вот вкратце схема книги. В первой части – взгляд андерсеновского мальчика на прорехи в парчовых ризах. Во второй – мучительные колебания между готовностью прыгнуть и страхом. И в третьей – прыжок в пустоту с мольбой к Богу о крыльях.

Такая схема сложилась у меня при чтении. Но схема эта только проглядывает, угадывается в череде сцен из жизни героини и жизни церкви на рубеже 70-х и 80-х годов. Едва перейдя через порог школы, 17-летняя девушка выходит замуж за педагога, показавшегося ей самым умным и одаренным. Мужу пришлось переменить работу, и в конце концов он стал переводчиком ректора Духовной академии. Супруга лица, близкого к владыке, оказывается в одном из центров церковной политики, следит за соперничеством Никодима, митрополита Ленинградского и Новгородского, с патриархом Пименом, «болеет», как говорят в спорте, за Никодима... Но чем больше ее втягивают в православную убежденность и обрядность, тем глубже ее сомнения.

Эйфория неопита ее не захватывает. Внутреннего духовного опыта у нее нет. Она внимательно наблюдает за своим сознанием после крещения и честно признается себе, что обряд не смыл с нее, как полагалось, чувство греховности. Личных грехов у нее не так много, но очень остро чувство общерусского греха (она не училась на богословском факультете и неточно называет его первородным). Это чувство сквозь крещение выступало снова, – чувство застарелого нравственного вывиха, оставленного историей XX века, чувство размытости нравственных границ, понятий о чести и совести, привычной готовности участвовать во лжи, «раскланиваться с подлецами» и смешиваться с ними в одну советскую массу. Все чаще и чаще приходит мысль, что церковь, погрязшая в том же грехе, не может спасти народ, пока сама не покается, не очистится, не обновится.

В книгах, привезенных мужем из-за рубежа, она прочла о «живой церкви» 20-х годов и пришла к неожиданному для себя выводу, что идея обновления не была ложной, созрела еще до революции, и ложь была только в надежде на советскую власть как честного партнера, способного, на известных условиях, поддержать обновление. О бесчестности советских церковных интриг не стоит спорить, но обновление – проблема очень непростая. Есть системы, которые не поддаются обновлению. Они или существуют, какие есть, или рушатся. Даже католицизм, с его опытом перемен, с трудом пережил аджорнаменто. К православию, не менявшемуся с VIII в., страшно прикоснуться, и это, вероятно, удерживает некоторых честных людей, с болью сознающих пороки церкви. Отрывочные знания героини не позволяют ей понять проблему в целом. Но она не может спокойно смотреть на уродства, бросающиеся в глаза. Живость выбранных ею примеров захватывает. Это именно такая история церкви, которая уместна в романе. И мне кажется, что в сомнениях молодой женщины, в ее спорах на малогабаритной кухоньке есть частицы живой жизни религии.

Пауль Тиллих считал, что в область религии входит все предельно глубокое и серьезное в культуре. Церковь – только учреждение, призванное напоминать человеку о потерянной глубине. И если церковь критикуют с точки зрения предельной этической глубины и серьезности, то это критика религии с позиций самой религии.

Я думаю, что концепция Тиллиха нуждается в поправках. Верно, что религия не сводится к церкви, умме, сангхе или к их Писаниям. У религии очень широкое поле. Но центр ее – тот мистический опыт, который вл. Антоний Сурожский называл «встречей», а Мертон – прикосновением к Богу, разрушением стены между человеческим сердцем и духовной бездной Бога. Предание пытается передать опыт святых людям грешным, далеким от благодати. Но «буква мертва», искажает дух и в то же время только буква (если нет потрясающего личного контакта) передает народам крохи священного знания.

Непосредственное нравственное чувство право по отношению к букве. Но в этом его правота и ограничивается. Остается пропасть между профанической правотой и полнотой духа, необходимой для первого же шага к самоочищенной церкви. Такой полнотой духа, которую чувствуешь у Матери Марии:

«Если в Церковь, одаренную терпимостью и признанием со стороны советской власти, придут новые кадры, этой властью воспитанные... сначала они, в качестве очень жадных и восприимчивых слушателей, будут изучать различные точки зрения, воспринимать проблемы, посещать богослужения и т.д. А в какую-то минуту, почувствовав себя, наконец, церковными людьми по-настоящему, по полной своей неподготовленности к антиномическому мышлению, они скажут: вот по этому вопросу существует несколько мнений – какое из них истинно? Потому что несколько одновременно истинными быть не могут. А если вот такое-то истинное, то остальные подлежат истреблению, как ложные. Они будут

сперва запрашивать Церковь, легко перенося на нее привычный им признак непогрешимости. Но вскоре они станут говорить от имени Церкви, воплощая в себе этот признак непогрешимости. Если в области тягучего и неопределенного марксистского миропонимания они пылают страстью ересемании и уничтожают противников, то в области православного вероучения они будут еще большими истребителями ересей и охранителями ортодоксии. Шаржируя, можно сказать, что за неправильно положенное крестное знамение они будут штрафовать, а за отказ от исповеди ссылать в Соловки. Свободная же мысль будет караться смертной казнью. Тут нельзя иметь никаких иллюзий: в случае признания Церкви в России и в случае роста ее внешнего успеха она не может рассчитывать ни на какие иные кадры, кроме кадров, воспитанных в некритическом, догматическом духе авторитета. А это значит – на долгие годы замирание свободы. Это значит – новые Соловки, новые тюрьмы и лагеря для тех, кто отстаивает свободу в Церкви. Это значит – новые гонения и новые мученики и исповедники.

Было бы от чего прийти в полное отчаяние, если бы, наряду с такими перспективами, не верить, что подлинная Христова истина всегда связана со свободой, что свобода до Страшного суда не угаснет окончательно в Церкви, что наше небывалое в мире стояние в свободе имеет характер провиденциальный и готовит нас к стойкости и подвигу...»

То, что говорила мать Мария, – в Париже, в 1936 г., на монашеском собрании под председательством митрополита Евлогия, – только один угол огромной проблемы, современный русский угол. Друг матери Марии, Георгий Петрович Федотов, находил примеры ересемании и до советской власти, – в XV, XVII веках. Но важно то, как мать говорила, с каким сознанием права, на каких сильных крыльях веры держится ее речь.

Этих крыльев нет у обаятельного юного alter ego Елены Чижовой. Духовный опыт героини останавливается на полдороге, и на полдороге ее подхватывает творчество Томаса Манна, где религиозное описывается

извне, неверующим пером. Она очарована эрудицией в «Иосифе и его братьях» и как будто находит себя в «Волшебной горе», в позиции Ганса Касторпа, слушающего либерала Сеттембрини, иезуита Нафту и никому не дающему увлечь себя. Исполняющим обязанности Сеттембрини становится Митя, один из университетских друзей мужа, а исполняющим обязанности Нафты – новый друг дома о.Глеб. Однако в центре нового треугольника не спокойный слушатель, а женщина, разочарованная остывшим браком. К ней влечет обоих мужчин, и для нее эти мужчины – не простые рупоры идей.

Отца Глеба удерживает страх греха; напряженность прорывается отдельными искрами, но они тут же гаснут. Это единственный случай эротической напряженности, который описан – возможно именно потому, что напряженность вызывает только скачки от дружелюбия к ненависти и от ненависти к доверию. Что влечет к Мите, кроме идейной близости, – непонятно. Говорится о призраке большой любви, которая обманула, но она только названа, не показана. Трудно понять, почему связь с Митей длится два года. Описаны только разговоры о политике. Ни одного слова любви, жеста любви, радости любви.

Постоянная повторяющаяся характеристика Мити – ненависть к советской власти и страх КГБ. Но это черты очень распространенные среди маргиналов диссидентского круга и маргиналов сионизма. Это не характеристика личности. Откуда же личное чувство, дошедшее до такой интенсивности, что страхи Мити передались героине, и жизнь ее превратилась в серию кошмаров? До какой степени в этом виновен КГБ? Или страхи Мити подтолкнули какие-то собственные, глубинные страхи, и призрачные гебешники – только подстановка подсознания, личные облики метафизической бездны, всплывающей в колебаниях веры и неверия?

Зачем КГБ травить героиню и добиваться ее разрыва с «этим жиденком»? Не стоит игра свеч. И где та глубина связи мужчины и женщины, когда они становятся как бы одним организмом и страх Мити

может стать страхом его подруги? Об этом никаких данных нет. Обо всем интимном в романе ничего внятного не сказано. Рассказчица готова на сдержанную откровенность в тех случаях, когда нечего рассказывать; но если тема есть, то она закрыта. Например, можно говорить об отношениях с о.Глебом или с мужем, брачные отношения с которым прерваны. Замечательна в этом смысле единственная сцена, где героиня в постели. После церковного венчания, внезапно совершенно по ее капризу, муж ночью неуверенно заглядывает в комнату; героиня молча указывает ему на дверь. Действует какой-то зарок, свойственный некоторым людям, особенно женщинам – не прикасаться словом к тому, что связано с тайной пола. И предположение о том, что связь с Митей привела к какому-то, пусть временному, отождествлению двух людей, не на что опереть.

Следуя логике романа в целом, достовернее предположить, что призрачные гебешники, терзающие героиню, могут быть подсознательной подменой «стражей порога», о которых она ничего не знает, но которые дремлют в ней на глубине архетипов. Аскеты не раз встречали в своих видениях кошмарные образы, загораживающие путь вглубь. Эти образы становятся литературным материалом в сказке, где герой или героиня должны пройти через встречу с чудовищем, чтобы обрести свое счастье. Кошмары, вырастающие из подсознания – реальность, а в обществе, отравленном страхом – обыденная реальность. Но реалистический роман или повесть только очень ограничено впускает такую реальность на свои страницы. Когда Достоевский написал «Хозяйку», его обвинили в неумелом подражании Гоголю (хотя материалом «Хозяйки» был лично пережитой бред).

Мне кажется, что количество кошмаров в «Лавре» можно было бы сократить. Но в их круговороте есть внутренний смысл. Он завершается сценой встречи с Отцом Лжи. И лицемерие его, и слова его, во всей их невыносимой пошлости, дают толчок – вон из его царства, вон из лжи, к

правде, какой ни на есть страшной, но правде. Иван Карамазов, побеседовав с чертом, идет в суд, доносить на себя как соучастника убийства. И героиня, увидев своего черта, не может не рвануться прочь от этого существа, то пресмыкающегося, ползающего около ее постели, то куратора, назначающего владык (невольно вспоминаешь Александра Галича: «И ты можешь лгать, и можешь блудить, и друзей предавать гуртом...»). Что же ей делать? Только одно: покончить с ложью, по крайней мере, в той ограниченной области, где она вправе заявить свою волю, и она требует от мужа церковного развода только что заключенного церковного брака. Муж считает своим долгом отказываться от этого.

«Он сидел в домашнем халате, но твердая черная полоска с белым клинышком, надетая по особому разрешению владыки (так называемая «реверендка», знак принадлежности к духовному сословию – Г.П.), перетягивала горло, мелькала в распахе – знаком изысканной, хотя и не всеобъемлющей полноценности (в смысле принадлежности к иерархии – Г.П.). Ее призрака вполне хватало на то, чтобы, запахнувшись, презрительно оглядывать возможные партикулярные доводы: «Если тебя, по известным причинам, не устраивает такая жизнь (прекращение брачных отношений, когда умерла любовь – Г.П.), я готов вернуться к нормальной – хоть сейчас». Голые колени вывернулись из-за стола и открылись наружу. Твердая черная полоска подперла шею. Я отшатнулась и перевела дыхание: «Не подходи! Ты – чудовище! Неужели так, по согласию, с холодным сердцем?» – «Ради детей, которые народятся», – он отвечал тихо. «Мы что – животные?» Муж усмехнулся и сдвинул колени: «Да, до тех пор, пока брак не освящен церковью. Животным станешь ты, когда нарушишь». – «Но ты же – венчался с ней» (с первой женой – Г.П.). С мучительной растяжкой он ощупывал четки, свитые чужими пальцами. «Мой грех – мой ответ. К тебе это не имеет отношения. Моя жена ушла сама, но больше я этого не допущу». («Звезда», 2002, № 9, с. 83).

Оказавшись в тупике, героиня впадает в депрессию. Она заставляет себя есть, чтобы не казаться душевнобольной, но теряет всякий интерес к жизни. Муж вместе с о.Глебом пытается изгнать из нее бесов – примерно так, как рассказчица видела это в Почаевском соборе. Она живо воображает, как бесы покидают ее тело, но не покоряется неумелым экзорцистам и ускользает из квартиры. Это одна из сцен, где я чувствую неполную тождественность героини и рассказчицы. Впрочем, граница здесь зыбкая; и видимо, чтобы не думать о пограничных проблемах, героиня, а заодно и ее муж, лишены имен. В трудных случаях говорится, что друг «назвал его (мужа) уменьшительным именем», или владыка «назвал меня по имени–отчеству». На мемуарных страницах неловко давать себе вымышленное имя, а в кошмарных видениях, прошедших литературную обработку, назвать свое действительное имя.

Женщина Имярек исчезает из квартиры и находит убежище в заброшенной мастерской художника, где когда-то встречалась с Митей (ключ оказался на связке). Несколько месяцев она проводит в добровольном затворе, выходя из него только для посещения института, главным образом – за аспирантской стипендией. На звонки мужа в дни, когда ее всего вероятнее можно застать, секретарша по договоренности отвечает, что она «недавно была» или «только что ушла». Иногда имярек гуляет, но ни с кем не вступает в разговоры. Зимнего пальто с собой не захватила и в холода отогревается в подъездах. Наконец, на очередной звонок, – взяла трубку. Муж, сломленный ее упорством, приглашал на собеседование с вл.Николаем. Благословение вл.Николая, – ректора академии, – необходимое условие развода.

К имярек возвращается ее внутреннее равновесие, находчивость и такт. На приеме у владыки воскресает диалог, который был когда-то прерван ударом ноги под столом. Мужчины и женщина искренне хотят понять друг друга. Имярек сразу выбирает самое простое основание развода

– прелюбодеяние. Но ей хочется воспользоваться встречей, чтобы поговорить. «С тоской я думала о том, что пост, который он занял ходом вещей, не дает нам обоим говорить свободно. Прежде чем получить свободу от церкви, с ним одним я бы могла...» И внезапным порывом начинает говорить о вещах, все более и более далеких от повода встречи.

«Православная церковь, – я продолжала медленно и внимательно, – это прежде всего – власть. Точнее говоря, она обладает властью над душами, в некоторых случаях неограниченной...» – «Вы – о себе?» – он снова перебил. Тридцатилетние глаза смотрели напряженно (владыка был очень молод – Г.П.). Он, облеченный церковной властью, желал убедиться в моей покорности. Я поняла, от этого ответа зависит исход. Именно здесь, соблюдая приличия, я должна была признать их власть над своей душой, сказать – да. Совершеннолетняя мудрость, свившаяся под сердцем, нашептывала покорный ответ. «Нет, владыко, – я встретила напряженный взгляд, – в данном случае не о себе. Над своей душой я не могу принять ничьей неограниченной власти». Теперь, по долгу иерархии он должен меня изгнать. Медленно, словно раздумывая, владыка поднялся с места. Готовая принять неизбежное, я встала.

«Давайте поьем чаю», – в голосе Николая не осталось отцовства. Вставши с места, он заговорил, как брат. Растерянно вскинув запястья, я поглядела на часы. До конца аудиенции остались минуты. Владыка поймал мой взгляд и усмехнулся».

Ему тоже захотелось поговорить по душам и узнать эту женщину без протокола. Оба садятся за журнальный столик. «Помешивая горячий чай, он говорил о том, что европейцам пришлось выбирать между таинствами и человечностью, в результате протестанты отказались от большинства таинств и от общемировых конфессий, но пришли к идее национальной церкви, то есть тоже, в известном смысле, родовой. «Круг замкнулся, и тут-то – он улыбнулся широко и победительно, – на поверхность всплыла

семья. Я хочу сказать, если все-таки глядеть исторически, едва мы отказываемся от всего рода, руки, повисшие в воздухе, хватаются за семью». Я собралась возразить, но остановилась. Быстрым взглядом, словно мы и вправду сидим на кухне, я обвела потолок и подняла палец к уху. Он прочел безошибочно».

Далее и владыка, и прелюбодейка говорят обиняками, поглядывая на потолок. В этом диалоге в незримом присутствии КГБ я цитирую только наиболее ясные фрагменты, иногда не высказанные вслух: «Гуляй мы по саду, мне хватило бы слов. Я сказала бы о том, что в рабской стране абсолютное подчинение церкви – не спасение. Она – второй жесткий ошейник, который церковь, победившая обновленцев, но подчинившаяся бесовскому государству, надевает на шею раба...»

«Судя по вашим откровенным словам, – владыка перебил с недоброй усмешкой, – вы ожидаете второго Лютера? Сейчас это вряд ли возможно. Наше дело – сохранить в неприкосновенности канон и таинства». Теперь он возражал обновленцам с совершенной ясностью. Я думала о том, что одно невозможно без другого. Без нового Лютера старые таинства иссякнут» (с. 93–94).

Оба участника диалога одинаково кружат по поверхности исторических событий и исторических аналогий. Оба не сознают – по меньшей мере, не вспоминают – глубины, из которой врывается новое. А глубина была рядом. В начале 70-х годов до нас уже доходили книги Антония Сурожского. Вскоре я услышал о беседе Антония с женщиной, попросившей принять ее. После нескольких фраз Антоний долго, минут десять, глядел ей в глаза, а потом сказал: «Не думайте, что вы должны давать что-то людям. Только будьте».

Из глубины этого молчания можно было преодолеть любые канонические препятствия, начинать любые реформы. И вскоре прямой подход к реформам, к обновлению церкви был дан на выступлении в

Париже, в 1974 году, в словах о Божьем следе (перевод Е.Л.Майданович опубликован в 1996 г. в «Континенте», № 89). Антоний противопоставляет опыт человечества, отпечатавшийся в принципах, и мудрость, угадывающую Божий след и действующую «безумно» (он берет это слово в кавычки, отсылая к посланиям Павла), действовать, попирая все принципы – философские, этические, богословские, – действовать так, как действует Бог. Вл.Николай мог бы это знать. Возможно, – и знал, но считал «мистическим анархизмом». Так и в новом веке откликнулся один из моих друзей, человек обширной учености и глубокого ума, на выступление вл.Антония в Лондоне, 8 июня 2000 г.

Сейчас, после кончины вл.Антония (4 августа 2003 г.), яснее ясного то, что речь на конференции Сурожской епархии была его духовным завещанием; врач по светской профессии, он знал о смертельной болезни и говорил как бы со смертного одра, с чувством свободы от всех запретов, замыкавших ранее его уста. «Не упускаем ли мы момент, данную нам возможность стать из церковной организации – Церковью», – вот его главная тревога. И чтобы стать Церковью, «надо вкорениться в Бога и не бояться думать и чувствовать свободно... Нам нужны верующие, люди которые встретили Бога. Я не говорю в грандиозном смысле, не каждый может быть апостолом Павлом, – но которые хоть в малой мере могут сказать: я Его знаю! И он, и она, они тоже нечто подобное знают, и мы можем вместе стоять, даже если у нас обычаи разные... Помню, как я был смущен, когда Николай Зернов, пятьдесят лет назад, мне сказал: «Вся трагедия Церкви началась со Вселенских соборов, когда стали оформлять вещи, которые надо было оставлять гибкими». Я думаю, что он был прав – теперь думаю, тогда я был в ужасе».

Вспоминая Антония, хочется сказать, что современное состояние русской православной церкви не вытекает строго необходимо из природы православия. Это грех православных, какими их описала мать Мария,

людей, зомбированных искаженной традицией. То же православие, каким оно воплотилось в Антонии, было способно встретить вызов надвигающегося XXI века, и в своей сурожской епархии он сделал несколько шагов в нужном направлении.

Смерть человека действует по-разному, иногда она обрывает все, что им начато, а иногда дает мощный толчок, удваивающий и удесятеряющий силу всего, что он делал. Антоний – один из людей, которые шли по Божьему следу. Сегодня за ним пойдут немногие. А что будет завтра – увидят те, кто доживут до завтрашнего дня...

Женщина имярек Антония при его жизни не встретила. Развод с мужем стал для нее символом развода, разрыва с церковью, и она осталась в пустоте. Но пустота – тоже страж порога, страшные ворота, через которые надо пройти:

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту...

Роман оставляет героиню в растерянности перед воротами пустоты. Она не могла жить в церкви, где в сердцевине увидела беса. Но и жизнь без церкви потеряла для нее смысл. Церковь оставляла надежду на встречу, подводила к туманным образам встречи. Все это было отброшено. Имярек возвращается в свой затвор – и ее охватывает отчаянье. В какой-то миг кажется, что единственная правда в этом мире иллюзий – смерть. Она открывает газовую горелку и ложится умирать. Потом вдруг срывается с постели – ей почудилась тень Мити. Может быть, за этим образом была догадка, что смерть, которую она искала – не физическая, а мистическая? Но она разбивает стекло и впускает свежий воздух.

Мейстер Экхарт, в проповеди на тему «Ибо сильна как смерть любовь», различает три ступени на пути к мистической смерти. Блажен тот, кого настигает смерть скоропостижная, мгновенная смерть в ветхом Адаме и рождение в новом Адаме. Это верхняя ступень. Пониже – тот, кто тоскует по мистической смерти; еще ниже – тот, кому доступна лишь смутная тоска по тоске. В ходе романа героиня подымается с третьей на вторую ступень. Так я воспринимаю символическую сцену, которой роман кончается. Но чтобы стала понятной ее образность, нужно несколько пояснительных слов.

На пути в Почаевскую лавку шофер мимоходом рассказал об эпизоде времен хрущевских гонений на церковь. Собор решили взорвать. Верующие плотным кольцом улеглись вокруг храма. Власти подогнали ассенизационные машины и стали поливать лежащих вонючей жижей. Люди продолжали лежать. Власти отступили. От этого воспоминания – образы говновозок в видении.

«Быстро и решительно, чуя за спиной урчание говновозок, я открыла дверь и вошла в притвор. Служба еще не начиналась. Высокий монотонный голос бормотал у амвона. Почти что на ощупь, ничего не видя вокруг, я пошла вперед и встала у лика. «Господи, – я обратилась в исчезающий голос, – вот я, полная ненависти, стою и говорю перед Тобой. Нет у меня ничего, что можно отдать Тебе, попросив взамен. Нет у меня ни дома, нет и детей, которых ты, когда народятся, накажешь. Нет у меня и веры, по которой, как они говорят, дается. Душа моя не слушается таинств, в которых Твоя надежда. Сюда я пришла из отвращения, потому что там, под воротами, уже стоят машины с толстыми шлангами. Они стоят и ждут меня, потому что там, где Ты не бываешь, можно просить только у них...» Лик, вознесенный надо мною, оставался недвижимым. «Господи, – я начала снова, уже зная о том, что предложу, – я солгала тебе, Господи, потому что есть одно единственное, то, что я умею расслышать, но еще не решаюсь написать. Оно дрожит во мне, пронзает кончики

пальцев. Я слышу звуки, собравшиеся в слова, в которых соединяются земля и небо. Только это одно есть у меня, и это я отдаю Тебе, чтобы они отпустили Митю».

Он смотрел вперед, дальше меня, туда, где под самым притвором они разворачивали шланги. Я оглянулась и увидела пустое пространство, не заполненное людьми. Утробное рычание фургонов доносилось сквозь высокие двери. «Господи, – я сказала, – здесь всегда страшно, надо привыкнуть, я же привыкла». Бледный лик, обращенный к двери, дрогнул. «Ничего, – я сказала, – Господи, просто люди еще не успели, но я-то все-таки есть». Неловко, подогнув колени, я спустилась на каменный пол и легла крестом. Лицом в камень, не сводя над головой рук, я лежала ровно и недвижно, пока они, направляющие шланги, поливали вонючими струями небо и землю» («Звезда», 2002, № 9, с. 100).

Думаю, что выход героини из церкви – не выход из поисков «смерти скоропостижной». Генрих Белль незадолго до смерти формально вышел из церкви, перестал платить церковный налог. Я не думаю, что он порвал с Богом. И священник отпел его, несмотря на запрет епископа. Решение Белля – свидетельство о кризисе, а не о смерти религии. Роман Е.Чижовой «Лавра» – скромное свидетельство о том же. Это свидетельство несовершенно по форме, оно слишком взволнованно, чтобы быть совершенным. Чижова часто сама не уверена, что она пишет: роман, мемуары, кафкианскую фантазию? От этого безымянность героини, уже отмеченная мной. Но все жанры хороши, кроме скучного, и нарушения жанровых рамок тоже хороши, если они захватывают. Я был захвачен чтением и не пожалел десяти дней, чтобы вытащить из глубины повествования то, что мне кажется его духовным смыслом. В этом признании – моя оценка.